МОРАЛЬ И ПРАВО

27 января с. г. в «ЛГ» была опубликована статья «Царица доказательств» — о той роли, которую сыграл в 30-е годы прокурор СССР А. Я. Вышинский при организации и проведении публичных политических процессов, а также о живучести его «теоретического» наследия, оказывающего влияние на сегодняшнюю прокурорскую и судебную практику.

Читательские письма, в огромном количестве пришедшие после публикации, содержат разнообразнейший спектр позиций и мнений.

От: «Горячо поддерживаем, благодарим, ждем новых публикаций, восстанавливающих правду» (А. Лепсонис, Каунас) до: «Смешно читать ваши жалкие потуги обругать великого Вышинского... Его имя навсегда останется во всех энциклопедиях, а ваше будет проклято и предано забвению» (А. Попов, Свердловск).

От: «Абсолютно прав тот не названный вами ветеран войны и труда, который предлагает выкинуть прах этого прокурора-убийцы из Кремлевской стены» (И. Кострюкова, Калининград) до: «Назовите имя того ветерана, чтобы, когда настанет время, его поганый прах развеять по ветру» (семья Даниловых из Москвы).

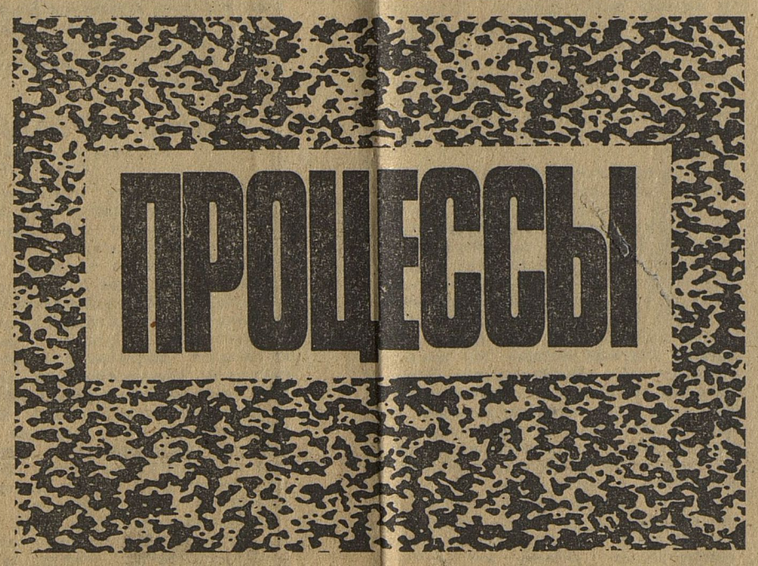
Но мое внимание, не скрою, в большей степени привлекли другие письма. Например, вот это:

«Для анализа нужны факты, много-много фактов. Их нередко заменяют в печати общие слова... Дайте факты, поверьте, мы сумеем сделать выводы, причем от этого не станем «инакомыслящими», наши мысли и чувства отданы своей стране, нашему правому делу, тому пути, с которого мы не свернем» (инженеры Б. Гордеев и Б. Москаленко, Ленинград).

Или вот это: «Вы упомянули в статье об аресте Мейерхольда. Всего один абзац. Но даже он содержит сведения о мало кому известных фактах. А сколько их еще — совсем неизвестных! О подробностях гибели Мейерхольда, Бабеля, Мандельштама, Кольцова и других деятелей литературы и искусства! Кому, как не «Литгазете», о них рассказать?.. Хотя бы только факты, и ничего больше» (С. Жукова, Ростов-на-Дону).

Итак, только факты...

Аркадий ВАКСБЕРГ



ЧЕМ ЖИЛА страна в этот день? Закончился ледовый дрейф легендарных седовцев — капитан Бадигин и помполит Трофимов телеграфировали из Мурманска Сталину и Молотову о прибытии экипажа на родную землю. На советско-финском фронте ничего существенного не произошло. Газеты вот уже шестую неделю кряду продолжали печатать поток приветствий товарищу Сталину по случаю его 60-летия. Опубликованы пространные выдержки из речи Гитлера в связи с годовщиной прихода к власти национал-социалистов, постановление СНК и ЦК «Об обязательной поставке шерсти государству»...

А в каждом учреждении шла своя — будничная, деловая — работа. У юристов, разумеется, тоже. Военной коллегии Верхсуда СССР предстояло заслушать в тот день, 1 февраля 1940 года, очередные дела. График был жесткий: двадцать минут на дело. Любая задержка привела бы к сбою, конвейер требует четкого ритма. Везде!

На этот раз, однако, процесс грозил затянуться: одно из дел, вопреки обыкновению (обыкновением стали «дела» по 10—20 страниц в тоненькой папочке), состояло из двух томов. Да и второе — в одном, но увесистом томе. От искусного председателя всецело зависело и при этих условиях соблюсти намеченный график.

«Залом заседаний» военной коллегии служил кабинет Берии в Лефортовской тюрьме. Его персональные кабинеты имелись во всех тюрьмах, где держали «политических». Едва ли не каждую ночь он лично участвовал в том, что называлось «допросом». То есть, иначе сказать, в истязаниях: уже без всяких кавычек. Под утро уходил отдыхать, и тогда кабинет поступал в распоряжение судей.

Места за столом заняли трое военных. Председательствовал неутомимый Василий Ульрих, уроженец Риги, выходец из культурной семьи (мать его, не чуждая изящной словесности, писала даже рассказы и сказки), «маленький лысый человек с розовым лицом и подстриженными усиками» — так рисует его портрет один очевидец. К тому времени Ульрих пробыл во главе военной коллегии почти четырнадцать лет. Сколько смертных приговоров подписано им при столь плотном и жестком графике? Боюсь, этого уже никто подсчитать не сможет.

Рядом с ним сидели в тот день двое других, совершенно безвестных судей — Кандыбин и Буканов. Их имена мы найдем в сотнях других приговоров с тем же самым финалом: доверие, стало быть, они оправдали. Молча внимали происходящему и столь же безропотно подписывали заранее заготовленные бумаги.

Человека, которого первым ввели в «зал заседаний», судьи знали отлично. Впрочем, совсем никому не знакомых туда вообще не вводили: Ульрих судил знаменитостей. Но этого подсудимого знали не только судьи — знала страна. И по имени, и в лицо. Его снимки множество раз публиковались на газетных страницах, кинохроника, заменявшая тогда телевидение, из журнала в журнал представляла его — на борту самолетов-гигантов, на испанской земле — под фашистскими бомбами, на полях и в шахтах, на солдатских учениях и театральных премьерах.

Это был Михаил Кольцов, известнейший публицист, член редколлегии «Правды», депутат Верховного Совета РСФСР, член-корреспондент Академии наук СССР. Бывший, бывший... Ибо теперь он был заурядным шпионом. Агентом трех разведок — германской, французской, американской. Членом антисоветского подполья с двадцать третьего года, «пропагандировавшим троцкистские идеи и популяризировавшим руководителей троцкизма», террористом с тридцать второго, намеревавшимся убить неизвестно кого, как, когда и за что. Признавшимся абсолютно во всем. Так было сказано в обвинительном заключении, уместившемся на двух с половиной страницах.

— Желаете чем-нибудь дополнить? — спросил подсудимого Ульрих.

— Не дополнить, а опровергнуть, — сказал Кольцов. — Все, что здесь написано, — ложь. От начала и до конца.

— Ну как же ложь? Подпись ваша?

— Я поставил ее... После пыток... Ужасных пыток...

— Ну вот, теперь еще вы будете клеветать на органы... Зачем усугублять свою вину? Она и так огромна...

— Я категорически отрицаю... — начал Кольцов, но Ульрих прервал его:

— Других дополнений нет?

Он укладывался в двадцать минут. Даже чуть сэкономил.

Когда 14 лет спустя подполковник юстиции Аракчеев проводил проверку этого дела, его поразила не просто полнейшая безосновательность обвинения, но отсутствие малейшей попытки создать даже видимость доказательств. Свести хоть как-то концы с концами. Оставить в деле какие-то признаки следственных поисков.

В постановлении на арест, составленном через сутки после того, как Кольцов уже находился в тюрьме, указана такая причина ареста: его «родной брат, историк Фридляндер, расстрелян как активный враг народа...». Хотя родство с кем бы то ни было само по себе вообще не может быть преступлением, горькая ирония заключается в том, что известный историк, декан исторического факультета МГУ и М. Кольцов, настоящая фамилия которого Фридлянд, не доводились друг другу никем. И нигде ни разу ни словом единым в обоих томах имя профессора, «родство» с которым послужило причиной ареста, больше не было упомянуто. О нем забыли.

Все обвинения рассыпались без всяких усилий, стоило только в них немного вчитаться. Но вчитываться тогда никто не хотел. Никто! Жалкая фантазия следствия интереса не представляла (ведь судьи-то знали, что это фантазия!), а проверка не имела ни малейшего смысла (ведь судьба жертвы была предрешена).

Вчитаемся все же — теперь.

В террористы Кольцова завербовал — так сказано в приговоре — Карл Радек, но самому Радеку эта вербовка почему-то в вину не вменялась.

Вместе с Кольцовым, сказано там же, был завербован полпред в Риме Борис Штейн. Но против Штейна дело не возбуждалось, репрессиям он не подвергался.

Сотрудница «Правды», писательница Тамара Леонтьева, арестованная на несколько месяцев раньше, «призналась» под пыткой следователю Макарову, что вместе с Кольцовым состояла в какой-то троцкистской группе. Но особое совещание НКВД (даже оно!) дело против Леонтьевой прекратило: ей выпал счастливый билет.

Кольцову не выпал. «Расстрел», — привычно произнес Ульрих. Подсудимому не дали вымолвить слова: за дверью ждала уже вызова новая жертва.

ЭТО БЫЛ человек, чье имя знал весь цивилизованный мир. Великий реформатор театра, которого еще при жизни знатоки называли гением, а невежды — трюкачом, формалистом, исказителем классики. Всеволод Мейерхольд был арестован 20 июня 1939 г. Сразу же после речи, произнесенной в присутствии Вышинского (см. статью «Царица доказательств» — «ЛГ» от 27 января с. г.), он выехал в Ленинград, чтобы помочь Институту имени Лесгафта поставить театрализованное зрелище на предстоящем физкультурном параде. Тут его и схватили.

Следствие длилось 7 месяцев. Сначала Мейерхольд признался, что он английский и японский шпион, троцкист с 1923 г.; что в тридцатом году он «возглавил антисоветскую группу «Левый фронт», объединявшую все антисоветские элементы в области искусства» (ЛЕФ, кстати заметим, существовал только до двадцать девятого. — А. В.); что в тридцать третьем «установил организационную связь с... Рыковым, Бухариным и Радеком, по заданию которых проводил подрывную деятельность в области театрального искусства»; что тремя годами позже его завербовал в троцкистскую организацию (еще в одну!) Илья Эренбург, а в английские шпионы — известный поэт, до недавнего времени полпред Литвы в Советском Союзе Юргис Балтрушайтис...

От этого бреда Мейерхольд нашел в себе силы и мужество отказаться еще на стадии следствия. За три недели до суда, 13 января 1940 года, он обратился с письмом к Вышинскому, которого по-прежнему считал прокурором Союза, хотя еще до ареста Мейерхольда Вышинский уже работал в другом качестве. Но истинное место Вышинского, его настоящая роль была Мейерхольду известна...

«...Меня клали на пол лицом вниз, — писал режиссер академику, — жгутом били по пяткам, по спине; когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам. Следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-синим-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что казалось, на больные чувствительные места налили крутой кипяток (я кричал и плакал от боли). Руками меня били по лицу... Следователь все время твердил, угрожая: «не будешь писать, будем бить опять, оставим нетронутыми голову и правую руку, остальное превратим в кусок бесформенного окровавленного тела». И я все подписывал до 16 ноября 1939 г.»

Такое же заявление Мейерхольд написал на имя Председателя Совнаркома СССР, почетного академика В. М. Молотова.

От академиков ответ не пришел. Впрочем, «суд» и был ответом.

Собкор «Известий» Илья Эренбург жил в это время в Париже и рвался в Москву, не имея понятия о том, что он кого-то куда-то завербовал. О том, что они тоже завербованы Эренбургом — в ту же самую организацию, — не имели представления и другие ее члены: Юрий Олеша и Борис Пастернак. Когда в 1955 г. военный прокурор, старший лейтенант юстиции Ряжский начал проверку «дела Мейерхольда-Райха В. Э.», он безуспешно пытался найти в архиве дела заговорщиков Эренбурга, Олеши и Пастернака. Все трое — живыми и невредимыми — явились по вызову к старшему лейтенанту, но даже от него, по счастью, так и не узнали, что против них затевалось.

Шел, напомню, всего лишь пятьдесят пятый год, до Двадцатого съезда оставалось несколько месяцев, портреты Сталина еще были украшением улиц и кабинетов, к имени его по-прежнему добавлялось: «вождь и учитель». Процесс реабилитации жертв сталинизма только-только еще начинался. Поэтому прокурор решил оснастить свое заключение с максимальной солидностью. Так появились в прокурорском досье свыше пятидесяти отзывов о Мейерхольде, принадлежащих перу крупнейших деятелей советской культуры.

Случай, думаю, беспримерный: самое полное собрание отзывов о вкладе режиссера в мировое искусство находится не в ЦГАЛИ, а в прокуратуре. Имена-то какие!.. Шостакович, Пастернак, Эренбург, Вс. Иванов, Ромм, Назым Хикмет, Охлопков, Ильинский, Царев, Пырьев, Жаров, Гарин, Свердлин, Штраух, Оборин, Софроницкий, Образцов, Вивьен, Кукрыниксы, Завадский, Герман, Олеша, Юткевич, Г. Александров, Экк, Гиацинтова, Меркурьев, Дм. Орлов...

Отзыв И. Эренбурга совсем недавно опубликован («Вопросы литературы», № 12, 1987). Вот другие, еще не известные.

«Военному прокурору Б. В. Ряжскому.

Глубокоуважаемый Борис Всеволодович!

Я до сих пор не сдержал слова и не закрепил для Вас письменно нашего разговора о Мейерхольде, потому что все время очень занят. Вы помните наш разговор. Главное его существо заключалось вот в чем. Так же, как и Маяковский, я был связан с Мейерхольдом поклонением его таланту, удовольствием и честью, которое доставляло мне посещение его дома или присутствие на его спектаклях, но не общей работой, которой между нами не было, для меня и он, и Маяковский были людьми слишком левыми и революционными, а я для них был недостаточно радикален.

Я любил особенно последние по времени постановки Мейерхольда: «Ревизор», «Горе от ума», «Даму с камелиями». Дом Всеволода Эмильевича был собирательной точкой для всего самого передового и выдающегося в художественном отношении среди писателей, музыкантов, артистов и художников, бывавших у него. Наиболее сходной с ним по душевному огню и убеждениям, наиболее близкой ему братской фигурой был, на мой взгляд, Маяковский. Я не знаю, насколько решающим может быть мое мнение на этот счет. Вкратце вот самое живое, что я мог бы об этом сказать и вспомнить.

Будьте здоровы.

Ваш Б. Пастернак.

24 августа 1955 г.»

«Имя гениального Всеволода Мейерхольда, — писал прокурору Шостакович, — его выдающееся творческое наследие должны быть возвращены советскому народу». «...Нельзя вычеркнуть из истории советского и мирового театра творчество В. Э. Мейерхольда, художника огромного таланта, культуры и честности в искусстве», — взывал к правосудию Юткевич. «Обвинение В. Э. Мейерхольда в политическом вредительстве в области театрального искусства представляется всем нам, работникам советского искусства, чудовищной и ничем не обоснованной клеветой», — так начинал свое обращение в прокуратуру Завадский.

Ульрих и его подручные отправили Мейерхольда на казнь за двадцать минут. Их коллегам (в смысле только формальном!) — полковникам юстиции Сенику и Юткину, подполковнику юстиции Шалагинову — понадобилось куда больше времени, чтобы признать для всех очевидное: приговор абсолютно неправосуден! Очевидное с первых же строк: можно представить себе, что́ знали следователи о подследственном, судьи о подсудимом, если в обвинительном заключении и приговоре Мейерхольд назван главным режиссером Театра имени Станиславского, народным артистом СССР. Между тем, как известно, после разгона ГОСТИМа К. С. Станиславский пристроил опального гения на рядовую работу в своей оперной студии, а звания народного артиста СССР Мейерхольд так и не был никогда удостоен.

Как же стал он шпионом? Почему английским и японским, а не, скажем, цейлонским и гондурасским? Воля случая, прихоть судьбы... Стажироваться у Мейерхольда приехал вместе с женой, актрисой, молодой японский режиссер Иошидо-Иошима: много ли нужно, чтобы психоз разоблачительства протянул сразу нити к японской разведке? (Разумеется, уничтоженные в ежовских подвалах Иошидо-Иошима и его жена давно реабилитированы.) Среди знакомых Мейерхольда был человек с английской фамилией Грей: вот и готов вожделенный повод пристегнуть режиссера к Интеллидженс сервис. Балтрушайтис? Он тоже «агент иностранных разведок». Каких? Прокурор Ряжский решил найти ответ и на этот вопрос. Нашел: французские спецслужбы, к примеру, считали, что «просоветски настроенный» Балтрушайтис «без сомнения, сторонник союза с большевиками» и «скорее всего русский агент...».

В самую пору смеяться, но слишком будет он горьким, этот сегодняшний смех.

2 ФЕВРАЛЯ 1940 г. Мейерхольд и Кольцов были расстреляны. В те минуты, когда их казнили, Ульрих читал приговор Роберту Эйхе — вчерашнему еще кандидату в члены Политбюро, первому секретарю Западно-Сибирского крайкома партии, наркому земледелия СССР: конвейер продолжал работать безостановочно. Вечером, устав от праведных трудов, армвоенюрист пошел немного развлечься, расслабиться: в Кремле принимали седовцев, среди самых почетных гостей, список которых открывает Вышинский, значится и Ульрих. После ужина был концерт — пели Барсова, Лемешев, Рейзен, Козловский, танцевала Лепешинская, свое мастерство демонстрировали ансамбли Александрова и Моисеева, хор Пятницкого...

Кто, кроме Ульриха и еще нескольких человек, знал, что в этот день пуля палача оборвала жизнь гения? Театральная Москва жила по обычному расписанию. Во МХАТе шли «Мертвые души», в Малом — «Лес», в цирке удивлял публику чудесами Кио.

Шестью днями раньше не стало еще одного человека с мировым именем, прочно связанного — и в жизни, и в приговоре — с жертвами этого дня: 27 января был расстрелян Исаак Бабель, приговоренный накануне к смерти все тем же Ульрихом (его ассистентами на этот раз были Кандыбин и Дмитриев). Через 14 лет в заключении военного прокурора, подполковника юстиции Долженко о реабилитации Бабеля будет сказано: «Что послужило основанием для его ареста, из материалов дела не видно, так как постановление на арест было оформлено 23 июня 1939 г., то есть через 35 дней после ареста Бабеля. (Он был арестован 16 мая 1939 г. на даче в Переделкине. — А. В.)».

Мир знал его как большого писателя, судьи — как члена антисоветской троцкистской организации с 1927 года, агента французской и австрийской разведок — с 1934-го. Догадаться о том, что послужило не основанием, но поводом для его ареста, как раз несложно. Только что отправился вслед за своими жертвами державший в страхе страну кошмарный Ежов — Бабель (об этом пишет и Эренбург в своих мемуарах) был знаком с женой Ежова и даже, сознавая, чем он рискует, с нею встречался. Это нашло отражение в приговоре: «Будучи организационно связанным по антисоветской деятельности с женой врага народа Ежова — Гладун-Хаютиной, последней «Бабель был вовлечен в антисоветскую заговорщическую террористическую деятельность, разделял цели и задачи этой антисоветской организации, в том числе и террористические акты... в отношении руководителей ВКП(б) и Советского правительства».

На допросе, продолжавшемся трое суток без перерыва — с 29 по 31 мая 1939 г., — Бабель сначала отверг все обвинения, а потом — по не отраженной протоколом причине — внезапно круто изменил «линию поведения» и показал, что был членом шпионской троцкистской группы, куда его завербовал опять-таки Эренбург, а шпионом-связником был Андре Мальро, известный французский писатель, впоследствии министр в правительстве де Голля. Что продавал ему Бабель? Каламбуры и шутки? Застольные тосты? Нет, секреты военной авиации. Ни больше ни меньше...

Представит, наверное, интерес и состав группы террористов-троцкистов, в которую входил Бабель: кроме Эренбурга, мы встретим там писателей Леонида Леонова, Валентина Катаева, Всеволода Иванова, Юрия Олешу, Лидию Сейфуллину, Владимира Лидина, кинорежиссеров С. Эйзенштейна и Г. Александрова, артистов С. Михоэлса и Л. Утесова, академика О. Ю. Шмидта и многих других.

Сегодня, кажется, уже никакая, даже самая изощренная фантазия безумцев, стряпавших дела на дьявольской кухне Ягоды, Ежова и Берии, не может нас удивить. И, однако, читая список «подпольщиков», чувствуешь, что сходишь с ума. Леонов — террорист?! Катаев — диверсант?! Олеша — заговорщик? Полно, не может быть...

Но нет, список не так уж безумен. Все это не только яркие таланты, что само по себе не имеет прощения, не только люди независимых суждений и критического склада ума, что никак их не украшает, — почти все они так или иначе имели неосторожность прогневать вождя. В эти самые дни подвергались разносу на высшем уровне «Метель» Леонова, «Домик» Катаева, «Бежин луг», над которым Эйзенштейн начинал работу вместе с Бабелем. Еще раньше под огнем проработочной критики были Сейфуллина и Вс. Иванов. Вполне подходящие кандидаты для группы троцкистов!..

Несколько неожиданным выглядит в этой компании разве что Шмидт. И однако... Вот что сказал в своей речи на Первом съезде писателей герой-челюскинец, только что встреченный, обласканный, награжденный. Не кем-нибудь — Самим! «...Наша работа не нуждается в подстегивании, в нажимах, возгласах, не нуждается в противопоставлении вождя остальной массе. Это совершенно не наши методы. Я не хочу употребить слова, но это заграничные методы одного из соседних государств». Яснее не скажешь! Зал хорошо понял оратора — недаром после этих слов в стенограмме записано: «аплодисменты»!

Шмидту на том же съезде вторил Бабель: «...выдуманные, пошлые, казенные слова... играют на руку враждебным нам силам... Невыносимо громко говорят у нас о любви... Если так будет продолжаться, у нас скоро будут объясняться в любви через рупор, как судьи на футбольных матчах». Не было таких недоумков, которые не поняли, в любви к кому объяснялись тогда через рупор. И вряд ли такая дерзость оратора могла остаться без всяких последствий.

Ему вспомнили и «Конармию», где «он описал, — сказано в обвинительном заключении, — все жестокости и несообразности гражданской войны, подчеркнув изображение только крикливых и резких эпизодов...». Следствие квалифицировало этот ставший классикой цикл рассказов как диверсию и измену.

Уже 10 октября 1939 г. Бабель от своих признаний отказался. «Прошу следствие учесть, — сказано в его заявлении, — что при даче прежних показаний я, будучи даже в тюрьме, совершил преступление, я оклеветал нескольких лиц». Об этом же он трижды писал Ульриху: 5 и 21 ноября 1939 г. и 2 января 1940 г. Просил свидания с прокурором, просил вызвать свидетелей, дать ему ознакомиться с делом, допустить адвоката. Тщетно...

26 января за считанные минуты Ульрих мудро во всем разобрался. Наутро Бабеля не стало.

Материал о преступной группе других террористов-троцкистов, агентов всех иностранных разведок ждал своего часа в секретном сейфе. Вероятно, было намечено устроить громкий процесс знаменитостей — писателей и артистов, — но отказ Мейерхольда, Кольцова и Бабеля даже после угроз и пыток признаться в своих «злодеяниях» сорвал, хотя бы на время, этот сладостный замысел. Ясное дело, как бомба с часовым механизмом, «собранный» следствием материал мог взорваться в любую минуту, стоило только нажать на кнопку.

Таких впрок заготовленных показаний, которые, пожелай лишь вождь и учитель, тут же были бы у него на столе, лежало в сейфах навалом. Те материалы судебных дел, откуда я извлек сообщенные здесь факты, содержат сведения и о том, как выбивались на следствии «данные» против А. А. Андреева, А. А. Жданова, Л. М. Кагановича — «самых верных соратников» любимого и родного. И против других, ничуть не менее верных.

«Данные» могли пригодиться. Но — пронесло....

Родственникам погибших был сообщен результат. Для всех один и тот же: 10 лет дальних лагерей *без права переписки*. В текстах приговоров этой формулы, разумеется, нет, там ее заменяет одно короткое слово «расстрел». Кто-то придумал и внедрил этот страшный эвфемизм — чтобы «не возбуждать» и не сеять паники. Но секрета, в сущности, не было, все тогда знали, какая реальность скрывается за этой загадочной санкцией, даже для видимости не предусмотренной никаким законом.

Оттого-то, наверное, был запущен и безотказно действовал долгие годы механизм целенаправленных слухов. До родных и друзей время от времени доходили известия: лишенный права переписки жив и здоров, находится там-то и даже — со счастливой оказией — передает своим близким горячий привет.

О мифических встречах разных людей с Кольцовым рассказал в своих воспоминаниях его брат, художник Борис Ефимов. Жену Бабеля — А. Н. Пирожкову — официально уведомляли несколько лет кряду о том, что он жив, а летом 1952 г. «по поручению Бабеля» ее даже разыскал некий гражданин, «освобожденный из Средней Колымы», чтобы передать от мужа привет. Один из биографов Мейерхольда сообщает со слов «человека, вполне заслуживающего доверия», что тот «держал в руках» открытку от Всеволода Эмильевича — со штемпелем «одной из небольших забайкальских железнодорожных станций».

Едва ли не каждого, про кого официально и категорично не было сказано, что он казнен, то и дело «лично встречали» вездесущие очевидцы. Одна западная журналистка, сидевшая близ Воркуты с 1948 по 1953 г., описала свою встречу с виднейшим медиком, профессором Д. Плетневым, «которому было уже за восемьдесят». Он даже рассказывал ей, как отравил Горького: угостил начиненными ядом засахаренными фруктами. Плетнев умер, сообщала журналистка, летом пятьдесят третьего. Эта версия «просочилась» и в редакционный комментарий «Дружбы народов» к «Воспоминаниям о «деле врачей» Я. Рапопорта (1988, № 4). Увы... Плетнев был расстрелян 11 сентября 1941 г. в подвалах Орловской тюрьмы — там же и в тот же день, что и Христиан Раковский и многие другие (всего 154) ни в чем не повинные люди.

Повторяемость слухов, содержание которых сколочено по единой отработанной схеме, позволяет считать, что родились они и распространялись отнюдь не случайно. Сразу же после того, как Берия был ликвидирован, слухи эти прекратились: источник иссяк.

...В тюремной камере, наедине со следователями-садистами, ожидая суда и смерти, надеялись ли жертвы на то, что кто-то где-то кому-то скажет хоть слово — за них? Или осознавали всю нереальность даже мысли об этом? Ведь каждый, кто решился бы на столь отчаянный поступок, подписывал себе приговор.

Каждый ли, впрочем? Великий талант принадлежит человечеству, своей стране прежде всего, — не побуждает ли его спасение к поступку из ряда вон выходящему? Пусть даже к безумному. Престарелый академик Д. Н. Прянишников пробился к самому Берии, чтобы вырвать из его лап Николая Вавилова. Академик П. Л. Капица бесстрашно спасал Льва Ландау. Коллеги боролись, и небезуспешно, за Туполева, за Королева, за Рамзина. Кто бросился на амбразуру, чтобы спасти Мейерхольда? Тогда — не потом...

Через три недели после ареста Мейерхольда была зверски убита неведомо кем его жена — артистка Зинаида Николаевна Райх. Детей — ее и Сергея Есенина — предупредили: на следующий день после похорон убраться вон из квартиры. Под открытое небо... Их дед, Н. А. Райх, сумел дозвониться до прославленного артиста, депутата Верховного Совета СССР. Вряд ли маститому деятелю академической сцены была по душе эстетика Мейерхольда. Но разве тут до эстетики? Вместо сочувствия артист изрек: «Общественность отказывается хоронить вашу дочь».

Николай Андреевич Райх объяснил, что дочь похоронит сам, но просит вступиться за внуков, сохранить им кров. Ответ не замедлил: «Вас выселяют правильно».

«Общественность» одобряла. «Бунтовщиков» не нашлось. Страна упоенно пела: «Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей». Завтра наступала очередь того, кто сегодня молчал в надежде спастись самому. Цена молчания и последствия страха — вот главный урок, который они оставили нам.

ПРАВИЛО давнее и непреложное: всем — по заслугам.

Мне хочется назвать поименно тех, кто лично участвовал в реабилитации, в восстановлении чести и доброго имени Бабеля, Кольцова и Мейерхольда. Это нужно, я думаю, сделать и в отношении всех, кто вернул нам другие — оболганные и оскорбленные — имена. Нельзя допустить, чтобы осталась неведомой и безымянной достойная всяческого уважения работа, которую с благородной добросовестностью провели юристы, реабилитировавшие тем самым в общественном мнении и загаженное их «коллегами» святое место блюстителя закона, вернувшие правонарушительным органам их подлинный статус органов правоохранительных.

Кроме тех, кто уже назван: военные прокуроры Жабин и Терехов, судьи — члены Военной коллегии Верховного суда СССР Ченцов, Степанов и Сенин.

Но долг требует сказать: работа эта, особенно сначала, гладко не шла. Чтобы снять с убитых горы возведенной на них лжи, пришлось убеждать прокуроров в том, что Бабель — высоко ценимый Горьким писатель и патриот, что Кольцов всю жизнь верно служил революции, что Мейерхольд, ставя по-своему Грибоедова или Гоголя, отнюдь не собирался столь странным способом свергать Советскую власть, которой он служил с величайшей самоотдачей. В восстановлении, например, доброго имени Бабеля большую роль сыграли Екатерина Павловна Пешкова, Валентин Катаев и особенно Илья Эренбург, хлопотавший активно, неутомимо, причем не только по этому делу — при ином повороте событий столь бурную активность можно было бы с успехом обернуть против него: один террорист спасает других...

Всем — по заслугам. Скажем поэтому и о тех, облеченных званиями, возведенных на высокие посты, кто руководил так называемым следствием и лично участвовал в тех истязаниях, про которые писал Молотову и Вышинскому Всеволод Мейерхольд. Как раз об этих нелюдях известно меньше всего. Назову лишь то, что известно.

В недавних публикациях о судьбе Александра Косарева и других руководителей комсомола тридцатых годов промелькнули имена Шварцмана и Родоса — непосредственных истязателей и лжецов, бездарно сочинивших сценарий кровавого фарса. (Кстати, Берия и другие начальники этих мучителей были совсем иного мнения о творениях Шварцмана и Родоса. Они именовали сочиненные этой бандой протоколы допросов «истинными произведениями искусства»: так дословно записано в их показаниях.) Оба эти «мастера искусств» впрямую причастны и к уничтожению Бабеля, Кольцова и Мейерхольда.

Льву Ароновичу Шварцману, уроженцу Петербурга, безграмотному тупице, едва добравшемуся до седьмого класса неполной средней школы, исполнилось тогда тридцать лет. Борису Вениаминовичу Родосу из Мелитополя, чье образование завершилось в четвертом классе (он сам про себя написал потом в ходатайстве о помиловании: «Я — неуч»), было на три года больше. Впрочем, и надобности учиться у них не было никакой: на избранном ими поприще не требовалось ни просвещенности, ни диплома. Ближайшие сподвижники Берии, эти ветераны расправ с невероятной быстротой поднимались по служебной лестнице, за свое усердие в застенках стали полковниками, заместителями начальника следственной части по особо важным делам. (Родос с его четырехклассным образованием оказался после войны слушателем Военно-юридической академии, читал лекции в Высшей школе МВД по технике следствия и даже был автором учебных пособий «по внутрикамерной разработке арестованных», как значится в аттестации — автором «научных работ».) Полная атрофия к человеческим страданиям, беспримерный садизм, поражавший даже сообщников, и карьерная алчность делали их незаменимыми для фабрикации любого дела и добывания любых признаний: от кого угодно и в чем угодно.

Глухие к стонам и мольбам, сами они, став арестантами, требовали к себе внимания и сочувствия, заявили множество заведомо вздорных и, однако, удовлетворенных ходатайств, а Родос в знак протеста против «несправедливости» даже объявил голодовку. Участь их жертв, как мы помним, решалась в «суде» за двадцать минут, их самих же судили обстоятельно, неторопливо и с полным соблюдением законных прав, с участием свидетелей и экспертов (в том числе психиатров). Процесс Шварцмана длился три дня, Родоса — целых шесть, кстати сказать, в то самое время, когда работал Двадцатый съезд: великий драматург — Жизнь столь символично и многозначительно поставила в этой мистерии последнюю точку.

Конечно, не они задумали адскую мясорубку, не они отдали приказ «приступить к ликвидации»: им досталась лишь роль исполнителей. Но с каким сладострастием, с каким восторгом они играли ее! Финал процессов, где оба предстали в качестве подсудимых, для всех, я думаю, очевиден. Назову и других следователей, приложивших руку к уничтожению трех выдающихся деятелей советской культуры: Кузьминов, Воронин, Шипков, Сериков. Их, насколько я знаю, кара не постигла.

НА ЭТОМ можно было бы и закончить — я обещал рассказать только факты и только фактами ограничился, дав возможность читателю самому сделать необходимые выводы. Но есть одно соображение, которым хотелось бы поделиться.

Если были «враги народа», то, значит, были и его друзья. Врагом был Бабель, врагом — Мейерхольд. И Кольцов — тоже врагом. А Шварцман и Родос, Кузьминов и Воронин и те, кому нет числа, — с ними, под ними, над ними, — эти были друзьями народа. Его защитниками, спасителями и благодетелями. Избавившими нас от ненаписанных книг, от непоставленных спектаклей, от того, что развивало нашу культуру, приумножало духовное богатство и международный престиж страны. Страны, которая, потеряв несметные свои сокровища, радостно повторяла вслед за «друзьями народа», что теперь-то уж она богата, свободна и счастлива, как никогда.

Что они знали о своих жертвах? Что могли и хотели знать? В пятьдесят шестом году на процессе Родоса один из судей — полковник юстиции Рыбкин — спросил подсудимого, чем занимался «некий Бабель», которого тот беспощадно терзал. «Мне сказали, это писатель», — ответил Родос. «Вы прочитали хоть одну его строчку?» — продолжил судья. «Зачем?» — был ответ.

С этой манерой причинять зло, громогласно возвещая, что приносишь добро, мы все никак не можем расстаться. Во всяком случае — не могли до последнего времени. Неистребимая потребность в политиканской, угодливой практике, порождаемой зашоренным взглядом на реальности жизни, принесла нам потери, которые трудно исчислить.

Трудно — и, однако, возможно. О несостоявшихся творениях духа приходится только гадать. Убытки от одного лишь задавленного эксперимента Ивана Худенко, который погиб в тюрьме оболганным и униженным (про него «ЛГ» писала множество раз), можно выразить в цифрах: только в годы застоя свыше 40 миллиардов инвалютных рублей, которые пришлось заплатить за хлеб, купленный на чужбине. Свой так и не вырос, но замечательного сына народа и дело его во благо народа запросто уничтожили — для общественной пользы.

Недавно, после публикации статьи «Царица доказательств», один юрист весьма высокого ранга, встретив меня, грозно спросил: «Так вы что же хотите сказать — мы продолжаем практику тридцать седьмого года?..» Демагогические ярлыки вместо деловых обсуждений, вместо извлечения уроков из прежних ошибок — эта мода тоже родилась не сегодня. Все же отвечу: я хочу сказать именно то, и только то, что сказал. Что недавние судебные драмы ни прямо, ни косвенно, ни как-то еще с народным бедствием тридцать седьмого ничего общего не имеют. Ни в каком решительно смысле. И что это ясно любому без моих уточнений.

Но что навык угодливо исполнять чье-то поспешное Мнение, не считаясь с подлинными интересами общества, для иных юристов стал второй натурой, подкожным чувством, стереотипом профессионального поведения. И платить за это стране приходится непомерно большую цену.

Конечно, истоки того, что случилось в совсем недавние годы с лучшими нашими хозяйственниками — реабилитированным Снимщиковым, не реабилитированными и доныне Худенко и Белоконем, — нелепо искать в судьбе Мейерхольда или Кольцова, Вавилова или Чаянова. Дело не в поверхностных аналогиях, дело в сути. Дело в том, что «карающий меч» с завидным постоянством обрушивался на тех, кто — наша гордость, надежда и слава, находя опору для этого — нет, конечно же, не в законе, а в непререкаемых указаниях очередных временщиков. И всегда — ради нашего благоденствия...

Талант проявляет себя по-разному: один на сцене, другой в космосе, третий на колхозном поле. Но если это талант, он всегда неординарен, он ищет, пробует, дерзает, он не механический исполнитель, а активный творец, создающий новое, непривычное, еще не ставшее нормой. Почему же с такой готовностью, с такой упоительной страстью по первому зову свыше, да и по собственному почину в бой с талантом вступала юстиция? В бой неравный: ведь перед ее могучею силой талант беззащитен.

Вот какая мысль не покидала меня, когда я работал над этой статьей. И еще — мысль о том, что верность закону требует мужества и убежденности, чтобы отвергнуть любое давление, любой незаконный приказ. Иначе честному человеку лучше уйти, подыскать работу, не сопряженную с непосильным для него героизмом и отчаянным риском. И о том еще, что конституционный принцип: «Судьи... независимы и подчиняются только Закону» — завершается точкой. У него нет продолжения: «...а также тем, кто поставил себя выше закона». Если есть такие, кто выше, значит, нет законности, нет справедливости. Значит — нет права.

И последнее — то, с чем (я знаю!) не все согласятся. Горе страны, подвергавшейся ужасам беззакония, огромно. Но его, я думаю, не утешить реальным, видимым или посмертным, символическим судилищем над теми, кто это горе принес. Не надо больше судилищ! Надо лишь всех назвать поименно: лично причастных к убиению невиновных. Вдохновителей, исполнителей, истязателей — всех! Живых или мертвых.